



**Татьяна ЦИВЬЯН**

## **Хлебниковская лингвистика: предварительные заметки**

Анализ творчества Хлебникова почти всегда связан с расшифровкой его темного языка («Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу») — на уровне структуры отдельных слов, словесных конструкций и текста, что в итоге приводит к установлению его идиостиля<sup>1</sup>. Однако тема «Язык Хлебникова» имеет еще один аспект: «Хлебников и язык» («Хлебников о языке»), аспект, который нередко рассматривается как «подсобный»: от собственно лингвистических текстов Хлебникова ожидают объяснений его экспериментов и тем самым рассматривают их не столько как метаописание (в современном понимании самостоятельная версия текста), сколько как своего рода автокомментарий. Что касается его теоретических предложений (вселенский язык, всеславянский язык, звездный язык), то их относят, скорее, к области абстрактных идей, художественных метафор и т. п., но не к области лингвистической теории.

Эти заметки являются попыткой апологии хлебниковской лингвистики. Первым нашим опытом такого рода апологии был анализ написанного в 30-е гг. и опубликованного относительно недавно<sup>2</sup> трактата «Теория слов», принадлежащего Леониду Липавскому, философу из сообщества чинарей и, соответственно, близкому к кругу обэриутов. Далее приводится краткий компендиум нашей статьи<sup>3</sup>.

В свое время этот трактат вызвал у собратьев по чинарству недоумения и вопросы, оставшиеся актуальными и до наших дней, о чем можно судить из современного комментария Якова Друскина:

Л. С. Липавский был философ, особенно его интересовала философская антропология. Лет пять или шесть он занимался лингвистикой. Лингвистики он почти не знал, но создал новую лингвистическую систему, которую назвал «теория слов». Вяч. (Всеволодович) Иванов, прочитав ее, сказал: хотя «Теория слов» Липавского противоречит современным лингвистическим теориям, она интересна, ее следовало бы напечатать, но с соответствующи-

ми лингвистическими комментариями. З. Г. Минц назвала ее утопической лингвистикой<sup>4</sup>.

Обращаем внимание на основные характеристики трактата и его автора: 1) утверждение, что Липавский не знал лингвистики (хотя занимался ею достаточно долго), 2) признание, тем не менее, за его теорией определенной лингвистической ценности и 3) приложенное к ней определение «утопическая лингвистика».

Действительно, основные лингвистические положения Липавского не вписываются в науку о языке и в некоторых своих пассажах напоминают не выдерживающие никакой критики теории лингвистов-самоучек. Однако на фоне «невозможных» не только с профессиональной точки зрения, но и с точки зрения здравого смысла лингвистических упражнений у Липавского есть и проницательные догадки. Приведем пример подобного контраста: с одной стороны, Липавский говорит об исходных словах и о семенах слов, что звучит почти одиозно, особенно когда в качестве одного из таких семян он предлагает частицу ТИ, с примерами быти, выти, гыти, бети, вети, гети, брети, врети, грети и т. д.<sup>5</sup> С другой стороны, семантическое (этимологическое) сближение слов речь и река (семантический множитель течь) признается нашими этимологическими авторитетами: этому, в частности, посвящена статья В. Н. Топорова «Речь: река/речка» (в печ.). Нельзя не вспомнить в связи с этим этимологически правильное хлебни-ковское сближение речи и рока и (возможно, подсознательное) притягивание к этому реки: «Это было открыто языку говоров — рок в двух значениях: (впадали реки) слово и судьба»<sup>6</sup> (Хлебников 2001: 179)<sup>7</sup>.

Липавский берет материал языка и предлагает для его описания новую теорию. Ее основные положения выходят за пределы лингвистики *sensu stricto*, отсылая к мифологическим универсалиям, к космогонии и антропогонии; при этом языку с его неограниченными семиотическими возможностями отводится роль основного жизнестроительного элемента. Можно согласиться с тем, что теория Липавского не находит своего места внутри лингвистики. Однако это еще не означает, что она противоречит лингвистике. Поэтому нами и было предложено вывести его теорию из-под юрисдикции лингвистики и привести ее в ту область, которую сам Липавский, говоря о соотношении звук — смысл, определил как модель мира — термин, вошедший в употребление только сорок лет спустя:

Голос есть как бы модель мира. Звук ничего не значит, пока он произволен; когда же он начинает употребляться нарочито, <...> модель мира и сам мир начинают совпадать <...>. Звук начинает отбрасывать тень на мир — значение<sup>8</sup>.

Переходя к современной терминологии, мы можем сказать, что Липавский рассматривает язык *sub specie* общей семиотики и видит в нем наиболее совершенный код модели мира. Аппарат лингвистики, так же, как и аппарат философии (и т. д.), становится для него чисто орудийным, поскольку служит для создания новой и автономной системы описания. Можно говорить, что это своего рода предсемиотическое описание языка как универсальной знаковой системы, выполненное его же, языка, средствами.

В частной беседе автор книги о языке Хлебникова Б. Лённквист<sup>9</sup> высказала мысль об аналогии между Липавским и Хлебниковым: хлебниковскую лингвистику также стоит вывести из области собственно лингвистики и считать автономным и самодостаточным описанием языка, при котором используются «те же слова» (= лингвистические термины), что и в лингвистических описаниях. На этом связь с канонической лингвистикой, строго говоря, и кончается (несмотря на наличие «разумных совпадений») <sup>10</sup>. Примечательно, что реакция на хлебниковский язык и соответственно на хлебниковскую лингвистику почти дословно совпадает с реакцией на трактат Липавского, см. некоторые примеры.

Написанная в 1924 г. и опубликованная недавно статья Г. О. Винокура «Хлебников» построена как «наш — человеческий — суд над Хлебниковым», что, для аналитического разбора, может быть, и не столь обязательно<sup>11</sup>.

Пусть оправданы «исторически» и «заумь», и «словоновшество», и «корявость» Хлебникова. Пусть ученые доказывают, что все это «закономерно», что уродство это кому-то и для чего-то было «нужно». <...> сколь бы легко ни было оправдать исторически все эти большие наросты, <...> в Хлебникове останутся все же не «снезины», не «времири» и «смехачи», а вот эта изумительная Ляля на лебедь. Здесь — подлинное в Хлебникове, здесь — оправдание нашего воспоминания о нем <...> На Хлебникове отдохнуть трудно. <...> Но для того, кто любит и умеет отыскивать редкие золотые крупы в несчетном песке морском, — этот путь по Хлебникову безрезультатным не останется. <...> Таким можем мы его принять и усвоить. И только таким может остаться он навсегда в лоне русской поэзии<sup>12</sup>.

Добавим категоричное определение Т. Грица в работе, относящейся к тому же времени:

Создавая новые семантические законы, Хлебников одевает маску лингвиста и подробно разрабатывает поэтическую этимологию. Научного значения лингвистические изыскания Хлебникова не имеют, но они весьма важны как взгляд автора на собственные производственные процессы<sup>13</sup>.

Такого рода взгляды живы, и сейчас: лингвисты (особенно) не могут пройти мимо «очевидной бессмыслицы», «фантазий» и лингви-

стической некомпетентности Хлебникова, признавая за ним лишь некоторые «удачные догадки»<sup>14</sup>. Представляется, что отношение к лингвистике Хлебникова, иногда снисходительное, иногда почти до болезненности острое, может среди прочего поддерживаться тем, что, по логике того самого здравого смысла, в плену которого мы, сами того не замечая, находимся, ожидается, что «теория и практика», общие положения и примеры, должны объяснять друг друга, делая сложное простым, непонятное понятным (известное сочетание *per praeserta* и *per exempla*).

В случае Хлебникова так не происходит. Его языковая теория и языковая практика едины, но одновременно автономны и, поддерживая друг друга, скорее усложняют, чем упрощают предмет. Возникает ситуация, в которую изначально заложена амбивалентность. Задача дешифровки ложится на читателя (исследователя), и оказывается, что исключительно внутриязыковыми и «внутрилингвистическими» средствами она не выполнима, а принципиальная невозможность однозначного решения (выбор между да и нет) придает ей особую сложность. В такого рода сложности Хлебникова, по сути дела, и упрекает Винокур:

<...> Его поэзия в известной степени — и не слабой — оказалась заражена теоретизмом. Одно дело — если бы он нам действительно рассказал о том языке, о каком он мечтает. Но он <...> поспешил попытаться реализовать эту мечту в самом своем творчестве — он стал творить уже на этом мечтаемом, а для него самого — чуть ли не вполне реальном языке<sup>15</sup>.

«Парадоксальным образом под хлебниковским “теоретизмом” Винокур подразумевает нераздельность его лингвистической теории и поэтической практики» — указывает публикатор<sup>16</sup>.

Оценочные суждения о хлебниковском языке и его лингвистике поддерживаются еще и тем, что человек обычно находится в плену собственной языковой компетенции, вольно или невольно исходит из себя как точки отсчета, и поэтому в Хлебникове что-то принимает, а чего-то не принимает прежде всего на субъективном, эмоциональном уровне — можно отослать к уже приведенному примеру из статьи Винокура и задать достаточно естественный вопрос: почему времири и снезини плохо, а Ляля на лебеде «изумительно»? В свое время на эту особенность восприятия Хлебникова указал М. Григар:

Каждый, кто знакомится с текстами Хлебникова <...> немедленно заставлен активизировать свою языковую компетенцию. <...> сама языковая компетенция опирается на подсознательные, не совсем осознанные процессы. <...> это есть, так сказать языковая поэзия, но она не обращается только к нашему языковому сознанию, но и к нашему слуху: необыкновенные звуковые повторы и вариации вызывают определенный чувственный эффект<sup>17</sup>.

Опыт Хлебникова, который сейчас может восприниматься и как своего рода реликт, важен прежде всего тем, что он раскрывает креативные возможности языка, в узусе нередко нами недооцениваемые. Экспериментатор по преимуществу, Хлебников — не только поэт-творец/мифотворец, но и исследователь, опирающийся на лингвистическую теорию и одаренный лингвистическим чутьем<sup>18</sup>, которое он проверяет и оттачивает, черпая из разных языковых пластов (и соответственно из разных источников, в том числе и научных). Напомним слова Ю. Н. Тынянова: «Хлебников-теоретик становится Лобачевским слова»<sup>19</sup>.

Хлебников видел (провидел) систему языка в ее целостности, и проецировал ее на русский язык таким образом, что его эксперименты не столько взламывали язык, сколько ускоряли, опережали естественные изменения, подобно тому, как алхимики в своих опытах торопили естественный процесс созревания минералов в лоне земли (отсылаем к известной книге М. Элиаде «Кузнецы и алхимики»). В сущности, именно это сказал Мандельштам в статье «Заметки о поэзии» (1923), используя сходную метафору (геологическую или биологическую):

(Хлебников) наметил пути развития языка, переходные, промежуточные, и этот исторически небывший путь российской речевой судьбы, осуществленный только в Хлебникове, закрепился в его зауми, которая есть не что иное, как переходные формы, не успевшие натянуться смысловой корой правильно и праведно развивающегося языка<sup>20</sup>.

Речевая судьба указывает на речь, и на это обращает внимание Р. Якобсон в своей основоположной работе об анализе поэтического языка *sub specie* лингвистики, начатом им на примере Хлебникова:

Значительная часть творений Хлебникова написана на языке, для которого отправной точкой послужил язык разговорный. <...> (те же самые) слова в сочетании ошеломляющем<sup>21</sup>.

Прекрасные иллюстрации этого небывшего пути содержатся в хлебниковском «Образчике словоновшеств в языке», своего рода упражнении в аффиксальном словообразовании (Хлебников 2001: 143–145). Берется корень лет- и конструируется его «новый семантический портрет», собранный из типовых элементов, но сложенных по-иному. В объяснение/обоснование приводятся существующие в русском языке слова, формальные аналоги хлебниковским неологизмам, например: полетчик/переплетчик; летун/бегун; летай/ходатай; летчий/гончий; летавица/красавица; летать, лтение/читать, чтение; лтец/чтец; леток/игрок; летава/держава; летоба/учеба; летели/качели; летины/именины; лета «игры летания»/бега; летло, «в смысле снасти»/весло; леточ «воздухоплавательный прибор»/

светоч и т. д.<sup>22</sup> Почти в каждом отдельном случае легко находится лингвистическое объяснение «неправильности» хлебниковских экспериментов. Но именно почти: так, предлагаемые им варианты «для суждения о данном полете лучше брать полетчик»; «полетная снасть, взлетная снасть — совокупность нужных вещей при взлете или полете»; «летучий полк — воздушная дружина» вполне реальны (и в каких-то случаях реализованы). Более широкий взгляд позволяет видеть в этих рядах нечто в роде лексико-грамматического резерва, не востребованных (пока или уже) возможностей русского языка (мы не касаемся здесь таких — прозаических — словообразовательных упражнений Хлебникова, как «Любхо» и под.).

Для Хлебникова (и его единомышленников), как потом и для Липавского основным было установление связи означающего/означаемого, звука/смысла — то, чем напряженно занимается современная лингвистическая теория. Пользуясь средствами, омонимичным лингвистическим, оба они дистанцировались от классической лингвистики, от накладываемых ею ограничений. Не цитируя здесь Липавского, который об этом говорит достаточно категорично, приведем весьма значимые слова Хлебникова (Хлебников 2001: 179):

Помимо звуко-листьев и корне-мысла в словах (через передний звук) проходит мысль судьбы и, следовательно, у него трубчатое строение. Не следует относиться с суеверным ужасом к тому, о чем говорится. Пусть сравнительное языкознание придет в ярость.

О том, как вписывается в развитие лингвистической теории не признаваемая «хлебниковская лингвистика», о ее теоретических или «интенциональных» истоках (преломление лингвистических идей XVII века, приведшее к положениям, предвосхищающим структурную лингвистику) говорит в своих исследованиях на тему Н. Н. Перцова, см. в частности ее анализ «звездного языка», задуманного Хлебниковым как реализация однозначного соответствия звук-смысл (ср. те же цели у Липавского и Друскина). Принципы построения нового всемирного языка могут быть спроецированы на хлебниковскую теорию времени и числа и соответственно на его лингвистику<sup>23</sup>, тем самым объединяя то, «что он не успел завершить при жизни», т. е. его математические и лингвистические изыскания<sup>24</sup>. В этом контексте ипостась «звездного языка» может быть заумь, звукоподражания и т.п. — слова, рассчитанные «на непосредственное, “внеразумное” восприятие»<sup>25</sup>.

Представляется в связи со сказанным, что применение к хлебниковской лингвистике собственно лингвистических критериев не слишком перспективно в частности и потому, что эти критерии среди прочего ориентированы на нормативность и построены по оппозиции

правильный/неправильный, понятный/непонятный. Требования правильности и понятности, кстати, лежали и в основе «всеславянского», точнее «общего» славянского литературного языка Крижанича, стремившегося подвести к этому русский язык, — как это убедительно показано Н. Н. Запольской<sup>26</sup>. Идеи Крижанича были для Хлебникова весьма важны (вспомним, в частности, финал «Учителя и ученика»)<sup>27</sup>, но, возможно, восприняты им в несколько ином ракурсе (именно как стремление к объединению всех славянских языков в один).

Хлебников выбивается из строго «академических» направлений, в том числе, конечно, и из лингвистики, поскольку его основная задача — переход через границы, устремление к космическому единству мира. Достаточно сложно, если не невозможно, рассматривать разные стороны его творчества, ограничивая их рамками отдельных наук, будь то литературоведение, лингвистика, математика и т. п. Не стоит еще раз повторять и то, что язык для Хлебникова эксплицируется в экзистенциальных категориях пространства и времени, отошедших от соответствующих грамматических, однако сохраняющих с ними связь.

Опыт современных исследований творчества Хлебникова показывает, что наиболее плодотворным является «холистический» подход к анализу его поэтического мира: это соответствует тому, как он сам этот мир строил. О. Хансен-Лёве пишет в разделе своей книги о русском формализме, посвященном универсальному языку Хлебникова, то есть его лингвистической теории:

Хлебниковская фоносемантика включает в себя и элементы символистской синэстетики <...>, однако помимо этого содержит абстракцию той элементарной «системы движения» <...>, к которой могут быть сведены все отношения между объектами бытия и из комбинации которых могут быть синтезированы существенно новые отношения<sup>28</sup>.

Ср.: «His approach towards language reflects a holistic system of highly organized structural hierarchy» — в контексте попыток Хлебникова создать холистическую и энциклопедическую систему через «Poetisierung der Wissenschaft»<sup>29</sup>.

Итог: место хлебниковской лингвистики, как представляется, — в сфере общей семиотики и культурной антропологии, под знаком которой может, должно идти — и идет исследование его поэтического мира.

